

1.

Это было в ноябре 1968 года. Шло необычное заседание секретариата правления Союза композиторов РСФСР, который, как известно, долгие годы возглавлял Д. Д. Шостакович.

В центре кабинета стояли два рояля. Справа — письменный стол, за которым сидели Шостакович, Свиридов, Кабалевский, Б. Чайковский... Перед ними лежала партитура оперы М. Вайнберга «Пасажиры». Автор сидел за роялем, готовый играть и даже «напечатать» свою оперу.

«Два часа двадцать минут звучала музыка. Шостакович внимательно слушал, неторопливо перелистывая страницы партитуры и даже раскачивался в такт.

— Много пережив в минувшую войну, Вайнберг упорно работал над священной темой Великой Отечественной войны. И поэтому я не удивляюсь, что ему удалась эта прекрасная вещь, — сказал нам тогда Д. Д. Шостакович.

И вот сегодня, спустя почти девять лет, я сижу в гостях у композитора Моисея Самуиловича Вайнберга — одного из близких друзей Дмитриевича Шостаковича.

— Когда и где вы впервые встретились с Шостаковичем? — спрашиваю я его. — Однажды Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что это произошло в Москве, после того, как вам удалось спастись от гитлеровцев в оккупированной Польше и вы обрели жизнь на советской земле...

— Все было именно так, в те очень трудные для меня времена, — говорит композитор. — Да, меня спасли советские люди, и Советский Союз стал моей второй люб-

бимой родиной! А с Дмитрием Дмитриевичем я впервые встретился в 1943 году в Москве. Он пригласил меня к себе на квартиру и попросил сыграть мою 1-ю симфонию. Я очень волновался, но Дмитрий Дмитриевич был одарен таким чувством доброты, что, когда я сел за рояль, чтобы сыграть свое сочинение, волнение быстро исчезло.

— В ту первую встречу в Москве, в 1943 году, вы еще что-то играли Шостаковичу?

— Почти все, что к тому времени написал. В одном моем сочинении Дмитрий Дмитриевич, помнится, обратил внимание на хроматическую гамму сверху вниз клавиатуры и сказал: «Такой прием дешевоается!». Не понравился ему и цикл моих романсов на стихи А. Мицкевича. Почему? Много импрессионизма! Импрессионизм не был ему близок.

Он спел привычно пальцы и, вспоминая, продолжал:

— Насколько мы были бы беднее, не будь феномена по имени Шостакович! Великий реформатор музыки, он развивал, а не разрушал традиции. К какому бы жанру он ни присасывался, музыка становилась ярче, богаче. За строгими формами классического цикла его великих симфоний бурлит, клокочет, живет, сверкает современный мир. Середина XX столетия! Вся его музыка адресована людям, которых он очень любил и которые вечно будут платить ему тем же.

Цельность его натуры всегда вызывала удивление. Все бытовое, далекое от искусства едва ли касалось его. А творческую щедрость Шостаковича поистине можно назвать неисчерпаемой. Талант его воплотился не только в собственных сочинениях, но и в оркестровых редакциях

многих классических сочинений — «Песен и плясок смерти», «Хованщины», «Бориса Годунова» Мусоргского, виолончельного концерта Шумана... В свое время Дмитрий Дмитриевич закончил и оркестровал оперу своего погибшего в годы Отечественной войны на фронте ученика Вениамина Фрейшмана «Скрипка Ротшильда». А скольким композиторам, обращавшимся к нему, он помогал творческим советом, не жалея ни сил, ни

у него были очень широкие музыкальные вкусы: любил Баха, Бетховена, Брамса, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Бизе, меньше — Моцарта. Из русских композиторов очень высоко ставил Мусоргского, Глинку, Бородина, Даргомыжского, меньше — Римского-Корсакова, хотя очень ценил его «Китеж».

— Дмитрию Дмитриевичу чужда была манера любимого им Малера бесконечно совершенствовать свои сочине-

ния, товарищи, коллеги-композиторы.

— Сочинять музыку можно, пишь памятую, что это одновременно и радостный, и катаргический труд, — сказал он мне. — Труд, который требует всего тебя.

Скромность Шостаковича была глубокой, органичной. Он не терпел разговоров о своей славе и своих наградах.

— Может быть, то был единственный смешной случай, когда он косвенно, и к

поэту — не хотелось бы совпадений.

Такая щепетильность могла бы кому-то показаться кошачьим, но для тех, кто его знал, она была чуть ли не главной чертой Шостаковича.

Он был чрезвычайно точен: композиторы помнят, как первый секретарь правления Союза композиторов РСФСР публично отчитал одного из секретарей, опоздавшего на заседание на 15 минут. Помнится и другой случай, когда Дмитрий Дмитриевич, застен-

хавший его было неуместно, нескромно, хотя и работал он для вечности!

3.

...Который час длится наш разговор? И, кажется, мы еще ни о чем не поговорили.

Ну, к примеру, о том, как внимательно Шостакович следил за всем, что происходит в музыкальном мире, как радовался он каждой большой новинке — услышал «Военный реквием» Бриттена и сказал: «Отменная музыка!». Как однажды он засел за переложение для четырех рук только что появившейся симфонии Стравинского, чтобы скорее познакомить с ней друзей-музыкантов.

— Вместе с Дмитрием Дмитриевичем мы играли не раз. В 1953 году он исполнил со мною «четверехруную» переложение своей 10-й симфонии и предложил поехать в Ленинград, чтобы показать нашу работу Е. А. Мравинскому, — продолжает М. Вайнберг. — В начале 60-х годов по просьбе Дмитрия Дмитриевича я выучил клавир «Катерины Измайловой» — мы показали оперу на секретариате правления Союза композиторов СССР и в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Был случай, когда 4-ю симфонию Шостаковича я играл вместе с автором для С. А. Самосуда...

А как он играл, какой это был изумительный пианист, интерпретатор своих и чужих сочинений! Впервые я услышал его игру в 1943 году, в Москве, в Союзе композиторов, когда он исполнил свою 8-ю симфонию — и как исполнил! Потом я слышал в концертах в исполнении Дмитрия Дмитриевича свой квинтет, трио, Первый фортепианный концерт, прелюдии и фуги... Вспоминаю сейчас дивный вечер в Малом зале консерватории, когда с участием автора исполнялись три фортепианных трио — Шостаковича, Свиридова и мое. Помню, как Дмитрий Дмитриевич показывал свой 2-й скрипичный концерт Д. Ф. Ойстраху — он играл партию оркестра, а я — солирующей скрипки... Сколько души и сердца он отдавал каждому исполнению, склоняя себя, что называется, дотла! Как, однако, мало мы знаем о нем как об исполнителе!

...Несколько лет назад, зимой, когда Вайнберг гостил у Шостаковича, Дмитрий Дмитриевич, глядя в окно, сказал: — Неужели я больше никогда не увижу снега?

Он уже был тяжко болен, видимо, о многом догадывался... Он был необыкновенно терпелив и редко говорил о своей болезни. А если жаловался на болезнь, то только так:

— Все хуже работают руки. Теперь я уже не могу играть...

Незадолго до кончины Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Правой рукой я, увы, уже не могу держать перо — надо скорее переучиваться писать левой, как в свое время это сделал В. Я. Шебалин.

В последние годы жизни Дмитрий Дмитриевич был таким, как всегда: исключительная работоспособность, сильная память и — острая жажда жизни! Посещал концерты, бывал в театрах, много читал и слушал музыку, спеша, как говорят, с особым упоением и даже экзальтацией. И, конечно же, оставался таким же любящим отцом, каким был всегда: специально для сына Максима, поступавшего в консерваторию, сочинил Второй фортепианный концерт... Он жил, как всегда, как обычно: не любил срезанных цветов, обожал животных, часто вспоминал счастливые дни, которые когда-то провел в Белоежской пуще...

— Последнюю улыбку на лице Дмитрия Дмитриевича я видел 11 марта 1975 года, — вспоминает М. Вайнберг. — Он с женой, В. Баснер с женой и я — все мы гостили у одного из ленинградских учеников Шостаковича. Хозяин играл на рояле одну из сонат Бетховена, играл, как всегда, замечательно, но в медленной части вдруг взял неверный аккорд. Дмитрий Дмитриевич глянул на меня, и на его лице вспыхнула озорная улыбка. Как-то по-доброму, он лукаво подмигнул мне...

...Мы коснулись последнего сочинения великого композитора — сонаты для альта и фортепиано. Вайнберг говорит, что финал этого сочинения, где в странном ракурсе высвечивается Лунная соната Бетховена, производит загадочное впечатление.

— Мне кажется, что этот финал и есть кредо нашего великого советского художника, оставившего в стороне все суетное и мелкое. Во всех последних сочинениях Шостаковича мотив расставания с жизнью, конечно, присутствует, скорбь и печаль здесь легко читаются. И все же в этой сонате мотив добра, любви, всепобеждающей веры в жизнь оттесняет все остальное. Впечатление такое, словно некий невидимый зодчий уложил всю жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича в неповторимую цельную форму. Наверное, последнее сочинение Дмитрия Дмитриевича и не могло быть иным...

* *

Слушая одного из учеников Дмитрия Дмитриевича, я все время думал о том, что Шостакович с полным основанием мог повторить любимого им Микеланджело:

...И смертное меня не троет тленье.

Н. НАУМОВ

«...И СМЕРТНОЕ МЕНЯ НЕ ТРОЕТ ТЛЕНЬЕ»

Страницы жизни Д. Д. ШОСТАКОВИЧА



ния, — продолжал М. Вайнберг. — Шостакович часто говорил, что вместо того, чтобы переделывать старое, лучше сочинять новое...

Его мысли, советы, пожелания всегда были очень точными, конкретными. Сочинив 4-ю фортепианную сонату, я сообщил об этом Дмитрию Дмитриевичу в письме, сетя на то, что никак не мог выйти из рамок привычных установок формы сонатного цикла. Он ответил, как обычно, предельно четко: все заранее придуманные ломки старого и новации сами по себе ничего не стоят, если в душе пустота. Таково было убеждение Шостаковича, который часто акцентировал важнейший элемент творчества — самостоятельность мышления.

Однажды — это было в сороковые годы — некий композитор показывал Дмитрию Дмитриевичу свой фортепианный концерт.

— Не кажется ли вам, что

начало вашего концерта почти совпадает с началом Четвертого концерта Бетховена? — деликатно спросил Шостакович автора.

— Быть этого не может,

я ведь не знаю Четвертого концерта Бетховена, — возразил композитор.

Шостакович мрачно молчал...

тому же иронично, коснулся своей известности, — продолжал М. Вайнберг. — Однажды, смущаясь, он рассказал мне, как летел в Москву из далекой страны. Прибыл в аэропорт, вошел в самолет и занял свое место. Вдруг к нему подошел некий господин и на английском языке, которого Дмитрий Дмитриевич не знал, что-то сказал, протянув свой билет. Шостакович вынул ручку и оставил на билете автограф. Просьба, кажется, исполнена! Однако господин недоволен. Он привел стюардессу, и она объяснила Шостаковичу, что он ошибся рейсом, сел не в тот самолет и занял чужое место...

— Ситуация, конечно, была комической, — резюмировал Дмитрий Дмитриевич. — Вот что значит в молодости не учить иностранные языки.

...Все, кто близко знал его, всегда отмечали необыкновенную тонкость, деликатность, даже щепетильность. Однажды, работая над 14-й симфонией, Дмитрий Дмитриевич позвонил Вайнбергу:

— Вам нетрудно сказать, какие именно стихи Гарсиа Лорки вы использовали в своем «Реквиеме»? Дело в том, что в своей новой симфонии я тоже обратился к этому

ческий и деликатный, решительно ополчился против некоего плюгавителя... Это стоило ему много здоровья, но иначе, признался Шостакович, он не мог поступить!

— Наша советская музыка чиста, и мы не должны думать о своих нервах, если что-то может бросить на нее даже самую малую тень...

Шостакович не только был верным другом, но и ожидал этого от всех, горестно переживая разочарования, которых избежать, увы, не удавалось... Не любил Дмитрий Дмитриевич разговоров о творческой неудаче кого-либо из друзей, относясь к ней как к случайности. Радовалась успеху другого и гордилась его неудаче — таков был его закон. Но это отнюдь не было свидетельством безграничной мягкости — отнюдь!

— О скромности его говорить трудно, ибо она была естественной, как дыхание, — вспоминает М. Вайнберг. — За тридцать лет нашего знакомства мне почастливилось много раз слушать его сочинения еще до концертного исполнения, но я ни разу не слышал от него ни одного слова о том, что и как он написал. Он всегда искренне смущался, когда я высказывал ему свой восторг. Выразить это было непросто, ибо все, что выходило из-под его пера, законно мерилось меркой гениальности... Так что

— Все хуже работают руки. Теперь я уже не могу играть...

Незадолго до кончины Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Правой рукой я, увы, уже не могу держать перо — надо скорее переучиваться писать левой, как в свое время это сделал В. Я. Шебалин.